мощи нашего разума. Что для нас важнее, задается вопросом Левшин, знание или блаженство? Он выбирает последнее. Для русской теодицеи XVIII века оправдание веры в Бога основывается на том, что в вере человек обретает «удовольствие, подкрепление и надежду». Здесь отвергается всяческое теоретизирование и провозглашается принцип: «Верую, чтобы быть счастливым». Целью Бога может быть только благо, и правило это выводится из того, как устроен мир: зло всегда либо обезвреживается, либо содержит в себе те или иные положительные аспекты. Такое оправдание существующего порядка в условиях России XVIII века не должно вызывать у нас удивления: для государственного православия скептицизм французского просветителя по отношению к религиозным догмам (в данном случае католическим) был далеко не очевиден. Не слишком приемлемой казалась также и та легкость, с которой на Западе писали о Боге.

Дискуссия о вольтеровской теодицее в России получила продолжение в XIX веке в остроумной полемике, которую вел Достоевский с современными ему литературными критиками. В одной из своих многочисленных статей о литературе он выступает как против утилитаристов, которые ожидают от искусства немедленной пользы, так и против так называемых эстетов, которые остаются совершенно чуждыми реальному миру. В этой связи он проводит следующую параллель: «Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского „Меркурия“ <...>. Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч., и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

<...> Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего